

АНТУАН-ФРАНСУА
ПРЕВО

Манон Леско



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Антуан Франсуа Прево

**История кавалера де
Грие и Манон Леско**

«Азбука-Аттикус»

1731

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Прево А.

История кавалера де Грие и Манон Леско / А. Прево — «Азбука-Аттикус», 1731 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-12202-4

Аббат Прево завоевал всемирную известность и вошел в историю литературы вовсе не благодаря принадлежащим его перу многотомным громоздким романам. Славу ему принесла небольшая повесть «История кавалера де Грие и Манон Леско» о необыкновенной любви незаурядного юноши и юной девушки, в образе которой, по выражению Мопассана, воплотилось «все, что есть самого увлекательного, пленительного и низкого в женщинах».

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-12202-4

© Прево А., 1731
© Азбука-Аттикус, 1731

Содержание

Предупреждение автора «Записок знатного человека»	6
Часть первая	8
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Антуан-Франсуа Прево

История кавалера де Грие и Манон Леско

© М. Петровский (наследник), перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Предуведомление автора «Записок знатного человека»

Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки», мне показалось, ввиду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как ни чужды мне притязания на звание настоящего писателя, я хорошо знаю, что повествование должно быть освобождено от лишних эпизодов, кои могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия, – таково предписание Горация:

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,
Pleraque differat et praesens in tempus omittat¹.

Даже не нужны ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило.

Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добавлением к ней. В поведении г-на де Грие они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения; предвидя свои несчастья, он не желает их избежать; изнемогая под тяжестью страданий, он отвергает лекарства, предлагаемые ему непрестанно и способные в любое мгновение его исцелить; словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение как на работу бесполезную. Помимо приятного чтения, они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером; а, по моему мнению, развлекая, наставляя читателей – значит оказывать им важную услугу.

Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их, и пренебрегают ими; задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них. Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им нетрудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным рассуждениям. Самые сладостные минуты жизни своей они проводят наедине с собой или с другом, в душевной беседе о благе добродетели, о прелестях дружбы, о путях к счастью, о слабостях натуры нашей, совращающих нас с пути, и о средствах борьбы с ними. Гораций и Буало называют подобную беседу одним из прекраснейших и необходимейших условий истинно счастливой жизни. Как же случается, что мы так легко падаем с высоты отвлеченных размышлений и вдруг оказываемся на уровне людей заурядных? Я впал в заблуждение, если довод, который сейчас приведу, не объясняет достаточно противоречия между нашими идеями и поведением нашим: именно потому, что нравственные правила являются лишь неопределенными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их к отдельным характерам и поступкам.

Приведем пример. Души благородные чувствуют, что кротость и человечность – добродетели привлекательные, и склонны им следовать; но в ту минуту, как надлежит эти добродетели осуществить, добрые намерения часто остаются невыполненными. Возникает множество сомнений: действительно ли это подходящий случай? И в какой мере надо следовать душев-

¹ Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня. Прочее все отложить и сказать в подходящее время (лат.).

ному побуждению? Не ошибаешься ли ты относительно данного лица? Боишься оказаться в дураках, желая быть щедрым и благотельным; прослыть слабохарактерным, выказывая слишком большую нежность и чувствительность; словом, то опасаясь превысить меру, то – не выполнить долг, который слишком туманно определяется общими понятиями человечности и кротости. При такой неуверенности только опыт или пример могут разумно направить врожденную склонность к добру. Но опыт не такого рода преимущество, которое дано в удел всем; он зависит от разных положений, в какие человек попадает волею судьбы. Остается, следовательно, только пример, который для многих людей и должен служить руководством на пути добродетели.

Именно такого рода читателям и могут быть крайне полезны произведения, подобные этому, по меньшей мере в том случае, когда они написаны человеком достойным и здравомыслящим. Каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть образец нравственного поведения; остается лишь применить все это к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в целом представляет собою нравственный трактат, изложенный в виде занимательного рассказа.

Строгий читатель оскорбится, быть может, тем, что я в мои годы взялся за перо, чтобы описать любовные приключения и превратности судьбы; но, ежели рассуждение мое основательно, оно меня оправдывает; если же оно ложно, ошибка моя послужит мне извинением.

Примечание. По настоянию тех, кто ценит это маленькое произведение, мы решили очистить его от значительного числа грубых ошибок, вкравшихся в большинство его изданий. Кроме того, в него внесено несколько добавлений, которые показались нам необходимыми для полноты характеристик одного из главных персонажей.

Часть первая

Прошу читателя последовать за мною в ту эпоху жизни моей, когда я встретился впервые с кавалером де Грие: то было приблизительно за полгода до моего отъезда в Испанию. Хотя я редко покидал свое уединение, желание угодить дочери побуждало меня иногда предпринимать небольшие путешествия, которые я сокращал, насколько то было возможно.

Однажды я возвращался из Руана, куда она просила меня съездить похлопотать в нормандском парламенте о земельных владениях моего деда по материнской линии. Пустившись в путь через Эвре, мой первый ночлег, я собирался на другой день отобедать в Пасси, отстоящем от него на пять или шесть миль. При въезде в деревню меня поразило смятение жителей; они выбегали из домов, стремясь толпой к дверям скверной гостиницы, перед которой стояли две крытые телеги. Вид лошадей, еще не распряженных и дымившихся от усталости и жары, показывал, что повозки только что прибыли.

Я задержался на минуту, чтобы осведомиться о причинах суматохи; но я немногого добился от любопытных поселян, которые, не обращая ни малейшего внимания на мои расспросы, продолжали, беспорядочно толкаясь, сбегаться к гостинице; наконец появившийся в дверях полицейский с перевязью и мушкетом на плече по моему знаку приблизился ко мне; я попросил его изложить мне причину беспорядка. «Пустое дело, сударь, – сказал он, – тут находится проездом дюжина веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю до Гавра, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть несколько красоток, это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».

Получив такое разъяснение, я уже готов был двигаться далее, как меня остановили крики какой-то старухи, которая выбежала из гостиницы, ломая руки и восклицая, что это варварство, что это гнусность, к которой нельзя остаться равнодушным. «В чем дело?» – обратился я к ней. «Ах! Сударь, войдите сюда, – отвечала она, – и убедитесь, что от такого зрелища сердце разрывается!» Влекомый любопытством, я спрыгнул с седла, передав лошадь моему конюху. С трудом пробившись сквозь толпу, я вошел внутрь и был поражен действительно трогательным зрелищем.

Среди дюжины девиц, скованных по шести цепями, охватывавшими их вокруг пояса, была одна, вид и наружность которой столь мало согласовались с ее положением, что в любых иных условиях я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему классу общества. Жалкое ее состояние, грязное белье и платье столь мало ее портили, что ее облик возбудил во мне уважение к ней и сострадание. Она старалась, насколько позволяли ей оковы, повернуться так, чтобы скрыть лицо от глаз зрителей; ее усилия спрятаться были так естественны, что, казалось, происходили из чувства стыдливости.

Так как шесть стражников, сопровождавших кучку несчастных, присутствовали здесь же в комнате, я отвел в сторону их начальника и обратился к нему, спросив, кто эта красавица. Он мог мне дать лишь самые общие сведения. «Мы взяли ее из приюта по приказу начальника полиции, – сказал он. – По всему видно, не за хорошие дела она была заключена туда. Я несколько раз расспрашивал ее в пути; она упорно отмалчивается. Но, хотя у меня и нет приказа обращаться с ней лучше, нежели с другими, я о ней больше забочусь, ибо, сдается мне, она малость достойнее своих подруг. Вон тот молодчик, – добавил полицейский, – может вам больше рассказать о причинах ее несчастья: он следует за ней от самого Парижа, не переставая плакать. Должно быть, брат он ей, а не то полюбовник».

Я обернулся к тому углу комнаты, где сидел молодой человек. Казалось, он был погружен в глубокую задумчивость; мне никогда не приходилось видеть более живой картины скорби; одежда его была крайне проста; но человека хорошей семьи и воспитания отличишь с первого взгляда. Я подошел к нему; он поднялся мне навстречу, и я увидел в его глазах, в лице, во всех

его движениях столько изящества и благородства, что почувствовал к нему искреннее расположение. «Не беспокоитесь, прошу вас, – сказал я, подсаживаясь к нему. – Не удовлетворите ли вы моего любопытства касательно той красавицы, как мне кажется, вовсе не созданной для жалостного состояния, в котором я ее вижу?»

Он вежливо мне отвечал, что не может сообщить, кто она, не представившись мне сам, но что у него есть веские основания не открывать своего имени. «Могу вам все же сказать то, что не тайна для этих негодяев, – продолжал он, указывая на полицейских, – я люблю ее со столь необоримой страстью, что она делает меня несчастнейшим из смертных. Я все пустил в ход в Париже, чтобы исхлопотать ей свободу; ни просьбами, ни хитростью, ни силой я ничего не добился. Я решил следовать за ней, хотя бы на край света. Я сяду на корабль вместе с нею; отправлюсь в Америку. Но вот предел бесчеловечности: эти подлые мерзавцы, – прибавил он, говоря о полицейских, – не позволяют мне приближаться к ней. Я сделал попытку напасть на них открыто в нескольких милях от Парижа. Я сговорился с четырьмя молодцами, обещавшими мне помочь за солидную плату; но предатели бросили меня в стычке и бежали, захватив мои деньги. Невозможность достичь чего-либо силой заставила меня сложить оружие; я упротребил стражников позволить мне хотя бы следовать за ними, обещая вознаграждение; жажда наживы побудила их согласиться. Они требовали платы всякий раз, как предоставляли мне возможность говорить с моей возлюбленной. Мой кошелек вскоре иссяк, и теперь, когда я остался без гроша, они стали столь жестоки, что грубо отталкивают меня, стоит мне сделать шаг в ее направлении. Всего какую-нибудь минуту назад, когда я дерзнул приблизиться к ней, несмотря на их угрозы, они имели наглость прицелиться в меня из ружья; я вынужден, дабы удовлетворить их алчность и следовать дальше хотя бы пешком, продать здесь дрянную клячу, что служила мне до сих пор верховой лошастью».

Как ни спокойно, казалось, передавал он мне свою повесть, невольные слезы катились у него из глаз. Станным и трогательным показалось мне это приключение. «Не требую, чтобы вы открыли мне тайну ваших обстоятельств, – сказал я ему, – но, ежели я могу быть чем полезен, охотно предлагаю вам свои услуги». – «Увы! – возразил он, – я не вижу ни слабого луча надежды; мне надлежит всецело покориться суровой судьбе моей. Я поеду в Америку; там буду, по крайней мере, свободен в своей любви; я написал одному из друзей, и он окажет мне некоторую помощь в Гавре. Главное затруднение мое в том, чтобы попасть туда и чтобы облегчить хоть сколько-нибудь тяготы путешествия несчастному этому созданию», – прибавил он, печально глядя на свою возлюбленную. «Позвольте же мне, – сказал я, – положить конец вашему затруднению: прошу вас принять эту небольшую сумму денег; очень сожалею, что не могу вам помочь иначе».

Я дал ему четыре золотых незаметно от стражи, ибо рассудил, что, узнав об этой сумме, они станут продавать ему свои услуги дороже. Мне даже пришло в голову торговаться с ними, чтобы купить молодому любовнику постоянное право разговора со своей возлюбленной вплоть до Гавра. Поманив к себе начальника стражи, я сделал ему соответствующее предложение. Он, видимо, устыдился, несмотря на присущее ему нахальство. «Мы, сударь, не запрещали ему говорить с девицей, – сказал он смущенно, – но он желал быть подле нее все время; это нам неудобно, и справедливость требует, чтоб он платил за причиняемое неудобство». – «Ну, хорошо, – сказал я, – сколько же вам следует, чтобы это вам было не в тягость?» Он имел дерзость потребовать два золотых. Я тотчас дал их ему. «Смотрите, однако, – присовокупил я, – без надувательства! Я оставляю свой адрес молодому человеку, дабы он известил меня обо всем, и знайте, что я найду способ добиться вашего наказания». Все это обошлось мне в шесть золотых.

Непринужденная, живая искренность, с какою молодой незнакомец выразил мне свою благодарность, окончательно убедила меня в том, что я имею дело с человеком из хорошей семьи, заслуживающим моей щедрости. Прежде чем уйти, я обратился с несколькими словами

к его возлюбленной. Она мне отвечала с такой милой, очаровательной скромностью, что, уходя, я невольно предался размышлениям о непостижимости женского характера.

Вернувшись в свое уединение, я больше не имел никаких известий об этом приключении. Прошло около двух лет, и я совсем уже забыл про него, когда неожиданный случай дал мне возможность узнать до конца все обстоятельства дела.

Я прибыл из Лондона в Кале с маркизом де..., моим учеником. Мы остановились, если не изменяет мне память, в «Золотом льве», где по каким-то причинам вынуждены были провести целый день и следующую ночь. Когда я гулял в послеобеденное время по улицам, мне показалось, что я вижу опять молодого незнакомца, с которым встретился тогда в Пасси. Он был весьма плохо одет и гораздо бледнее, чем в первое наше свидание; на руке у него висел старый дорожный мешок, указывавший на то, что он только что прибыл в город.

Он обладал лицом слишком красивым, чтобы его можно было забыть, и я тотчас же признал его. «Подойдемте-ка к этому молодому человеку», – пригласил я маркиза.

Радость юноши была неопишима, когда он тоже признал меня. «О, милостивый государь, – воскликнул он, целуя мне руку, – наконец-то я могу еще раз выразить вам мою вечную признательность!» Я спросил, откуда он теперь. Он отвечал, что прибыл морем из Гавра, куда вернулся незадолго перед тем из Америки. «Вам, видимо, туго приходится, – сказал я ему, – ступайте к „Золотому льву“, где я стою, я тотчас следую за вами».

Я вернулся в гостиницу, сгорая от нетерпения узнать подробности его несчастной судьбы и обстоятельства его поездки в Америку; я окружил его заботами и распорядился, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Он не заставил себя упрашивать и вскоре рассказал историю своей жизни. «Вы столь благородно со мной поступаете, – обратился он ко мне, – что я бы упрекал себя в самой черной неблагодарности, утаив что-либо от вас. Поведаю вам не только мои беды и несчастья, но и мою распушенность, и постыднейшие мои слабости: уверен, что строгий ваш суд не помешает вам пожалеть меня».

Должен предупредить здесь читателя, что я записал его историю почти тотчас по прослушании ее, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный авантюрист выражал с самым отменным изяществом. Итак, вот его повесть, к которой я не прибавлю до самого ее окончания ни слова от себя.

Мне было семнадцать лет, и я заканчивал курс философских наук в Амьене, куда был послан родителями, принадлежащими к одной из лучших фамилий П... Я вел жизнь столь разумную и скромную, что учителя ставили меня в пример всему коллежу. Притом я не делал никаких особых усилий, чтобы заслужить сию похвалу; но, обладая от природы характером мягким и спокойным, я учился охотно и с прилежанием, и мне вменялось в заслугу то, что было лишь следствием естественного отвращения к пороку. Мое происхождение, успехи в занятиях и некоторые внешние качества расположили ко мне всех достойных жителей города.

Я закончил публичные испытания с такой прекрасной аттестацией, что присутствовавший на них епископ предложил мне принять духовный сан, суливший, по словам его, еще большие отличия, нежели Мальтийский орден, к коему предназначали меня родители. По их желанию я уже носил орденский крест, а вместе с ним имя кавалера де Грие; приближались вакации, и я готовился возвратиться к отцу, который обещал в скором времени отправить меня в Академию.

Единственное, что меня печалило, когда я покидал Амьен, было расставание с другом, связанным со мной постоянными, нежными узами. Он был на несколько лет старше меня. Мы воспитывались вместе, но, исходя из бедной семьи, он был поставлен в необходимость принять духовный сан и после моего отъезда оставался в Амьене для занятий богословскими науками. Он обладал множеством достоинств. Вы узнаете его с лучших сторон в продолжение

моей истории, особенно же со стороны великодушия и преданности в дружбе, которыми он превосходит славнейшие примеры древности. Если бы следовал я тогда его советам, я бы всегда был мудр и счастлив. Если бы внял я его увещаниям, хотя бы из глубины бездны, куда увлекали меня страсти, я спас бы что-нибудь при крушении моего состояния и доброго имени. Но его заботы не принесли ему ничего, кроме горя при виде их бесполезности, а иногда и грубого отпора со стороны неблагодарного, который обижался на них, как на назойливые приставания.

Я назначил срок отъезда из Амьена. Увы! Почему я не назначил его днем раньше? Я прибыл бы в отчий дом непорочным и добродетельным. Как раз накануне расставания моего с городом я гулял со своим другом, имя которого Тиберж; мы встретили аррасскую почтовую карету и последовали за ней до гостиницы, где останавливаются дилижансы. У нас не было к тому иного повода, кроме пустого любопытства. Из нее вышло несколько женщин, сейчас же удалившихся в гостиницу; одна только, совсем еще юная, одиноко поджидала во дворе, пока пожилой человек, очевидно ее провожатый, хлопотал около ее поклажи. Она показалась мне столь очаровательной, что я, который никогда прежде не задумывался над различием полов, никогда не смотрел внимательно ни на одну девушку и своим благоразумием и сдержанностью вызывал общее восхищение, мгновенно вспылал чувством, охватившим меня до самозабвения. Большим моим недостатком была чрезвычайная робость и застенчивость; но тут эти свойства нисколько не остановили меня, и я прямо направился к той, которая покорила мое сердце.

Хотя она была еще моложе меня, она не казалась смущенной знаками моего внимания. Я обратился к ней с вопросом: что привело ее в Амьен и есть ли у нее тут знакомые? Она отвечала мне простодушно, что родители посылают ее в монастырь. Любовь настолько уже овладела всем моим существом с той минуты, как воцарилась в моем сердце, что я принял эту весть как смертельный удар моим надеждам. Я говорил с таким пылом, что она сразу догадалась о моих чувствах, ибо была гораздо опытнее меня; ее решили поместить в монастырь против воли, несомненно, с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась и которая впоследствии послужила причиной всех ее и моих несчастий. Я оспаривал жестокое намерение ее родителей всеми доводами, какие только подсказывали мне моя расцветающая любовь и мое школьное красноречие. Она не выказывала ни строгости, ни удивления. После минуты молчания она сказала, что предвидит слишком ясно горестную участь свою, но такова, очевидно, воля Неба, раз оно не дает никаких средств этого избежать. Нежность ее взоров, очаровательный налет печали в ее речах, а может быть, моя собственная судьба, влекшая меня к гибели, не дали мне ни минуты колебаться с ответом. Я стал уверять, что, ежели она только положится на мою честь и на бесконечную любовь, которую уже внушила мне, я не пожалею жизни, чтобы освободить ее от тирании родителей и сделать счастливой. Я всегда удивлялся, размышляя впоследствии, откуда явилось у меня тогда столько смелости и находчивости; но Амура никогда бы не сделали божеством, если бы он не творил чудес. Я прибавил еще тысячу убедительных доводов.

Прекрасная незнакомка хорошо знала, что в мои годы не бывают обманщиками; она поведала мне, что, если бы я вдруг нашел способ вернуть ей свободу, она почитала бы себя обязанной мне больше чем жизнью. Я отвечал, что готов на все; но, не имея достаточной опытности, чтобы сразу изобрести средства услужить ей, я ограничился общим уверением, от которого не могло быть большого толку ни для нее, ни для меня. Тем временем старый аргус присоединился к нам, и мои надежды должны были рухнуть, если бы находчивая девица не пришла на помощь моей недогадливости. Я был поражен неожиданностью, когда при появлении провожатого она назвала меня своим двоюродным братом и, не выказав ни малейшего смущения, объявила мне, что так счастлива встретить меня в Амьене, что решила отложить до завтра вступление в монастырь ради удовольствия поужинать со мною. Я отлично понял и оценил ее хитрость; я предложил ей остановиться в гостинице, хозяин которой, до переселения в Амьен, прослужил долгое время в кучерах у моего отца и был всецело мне предан.

Я сам сопровождал ее туда; старый провожатый ворчал сквозь зубы, приятель же мой Тиберж, ровно ничего не понимая в этой сцене, молча следовал за мною: он не слышал нашей беседы, прогуливаясь по двору, покуда я говорил о любви моей прекрасной даме. Опасаясь его благоразумия, я отделался от него, послав его с каким-то поручением. Итак, придя в гостиницу, я мог отдаться удовольствию беседы наедине с властительницею моего сердца.

Я скоро убедился, что я не такой ребенок, как мог думать. Сердце мое открылось множеству сладостных чувств, о которых я и не подозревал, нежный пыл разлился по всем моим жилам. Я пребывал в состоянии восторга, на несколько времени лишившего меня дара речи и выражавшегося лишь в нежных взглядах.

Мадемуазель Манон Леско – так она назвала себя, – видимо, была очень довольна действием своих чар. Мне казалось, что она увлечена не менее моего; она призналась, что находит меня милым и с радостью будет почитать себя обязанной мне своей свободой. Пожелав узнать, кто я такой, она еще более растрогалась, ибо, будучи заурядного происхождения, была польщена тем, что покорила такого человека, как я. Мы стали обсуждать, каким образом принадлежать друг другу.

После недолгих размышлений мы не нашли иного пути, кроме бегства. Следовало обмануть бдительного провожатого, который хоть и слуга, а был не так прост; мы решили, что за ночь я снаряжу почтовую карету и рано утром, до его пробуждения, вернусь в гостиницу; что мы бежим украдкой и направимся прямо в Париж, где тотчас же обвенчаемся. В кошельке у меня было около пятидесяти экю – плод мелких сбережений, у нее было приблизительно вдвое больше. По неопытности мы воображали, что сумма эта неисчерпаема; не менее того рассчитывали мы и на успех других наших замыслов.

Пожинав с большим, чем когда-либо, удовольствием, я удалился хлопотать о выполнении нашего плана. Мои приготовления значительно упростились тем обстоятельством, что, назначив отъезд домой на следующий день, я уже ранее собрал свои пожитки. Итак, мне ничего не стоило отправить дорожный сундук в гостиницу и заказать карету к пяти часам утра, когда городские ворота бывали уже отперты; но оставалось одно препятствие, которое я не принял в расчет, и оно чуть было не разрушило весь мой план.

Тиберж, хотя и старший меня всего тремя годами, был юношей зрелого ума и строгих правил; ко мне питал он исключительно нежные чувства. Вид столь красивой девицы, как мадемуазель Манон, мое рвение сопровождать и старания отделаться от него возбудили в нем некоторые подозрения. Он не посмел вернуться в гостиницу, где оставил нас, боясь явиться некстати; но решил дожидаться моего прихода у меня дома, где я и застал его, хотя было уже десять часов вечера. Его присутствие меня немало огорчило. Ему ничего не стоило обнаружить мое смущение. «Уверен, – откровенно обратился он ко мне, – что вы замышляете нечто, что желаете скрыть от меня; вижу то по вашему лицу». Я отвечал довольно резко, что не обязан отдавать ему отчет в каждом моем шаге. «Согласен, – возразил он, – но вы всегда относились ко мне как к другу, а это предполагает некоторое доверие и откровенность с вашей стороны». Он так настойчиво стал убеждать меня поделиться с ним моей тайной, что, будучи всегда с ним прямодушен, я и теперь всецело доверил ему свое страстное увлечение. Он принял мой рассказ с нескрываемым недовольством, повергшим меня в трепет. Особенно раскаивался я в болтливости, с какой расписал ему весь план нашего бегства. Он заявил, что питает ко мне слишком преданную дружбу, чтобы не воспротивиться этой затее всеми силами; что представит мне сначала все доводы, могущие меня остановить; но что, ежели я не откажусь и после этого от своего несчастного решения, он предупредит о том лиц, которые смогут пресечь его в корне. Засим обратился он ко мне со строгой речью, длившейся более четверти часа и закончившейся новой угрозой донести на меня, если я не дам ему слова поступать более разумно и осмотрительно.

Я был в отчаянии, что выдал себя так некстати. Но так как за последние два-три часа любовь крайне изошрила мой ум, я умолчал о том, что выполнение плана назначено на следующее утро, и решил при помощи уловки обойти затруднение. «Тиберж, – сказал я, – до сих пор считал я вас за друга и хотел испытать вас своим доверием. Я действительно влюблен, я не обманул вас; но бегство – не такой шаг, чтобы решиться на него необдуманно. Зайдите завтра за мной в девять утра; я постараюсь познакомить вас с моей возлюбленной, и судите тогда сами, достойна ли она моего решения». Он покинул меня с бесконечными уверениями в своей дружбе.

Всю ночь я приводил в порядок дела и, чуть забрезжило утро, был уже в гостинице мадемуазель Манон. Она ожидала у окна, выходявшего на улицу, и, увидев меня, сама отворила мне двери. Бесшумно мы вышли наружу. У нее был только сундучок с бельем, и я донес его собственноручно. Карета была уже подана; не медля ни минуты, мы покинули город.

Впоследствии я сообщу о поведении Тибержа, когда обнаружил он мое вероломство. Рвение его не угасло. Вы увидите, куда оно его завело и сколько пролил я слез, размышляя о том, какова была его награда.

Мы так гнали лошадей, что прибыли в Сен-Дени еще до ночи. Я скакал верхом подле кареты, вследствие чего мы могли вести разговор лишь во время перемены лошадей; но, едва только мы завидели Париж, то есть почувствовали себя почти в безопасности, мы позволили себе подкрепиться, ибо ничего не ели с самого Амьена. Как ни был я влюблен в Манон, она сумела меня убедить в не менее сильном ответном чувстве. Столь мало сдержанны были мы в своих ласках, что не имели терпения ждать, когда останемся наедине. Кучер и трактирщики смотрели на нас с восхищением и, как я заметил, были поражены, видя такое неистовство любви в детях нашего возраста.

Намерение обвенчаться было забыто в Сен-Дени; мы преступили законы Церкви и стали супругами, нимало над тем не задумавшись. Несомненно, что, обладая характером нежным и постоянным, я был бы счастлив всю жизнь, если бы Манон оставалась мне верной. Чем более я узнавал ее, тем более новых милых качеств открывал я в ней. Ее ум, ее сердце, нежность и красота создавали цепь столь крепкую и столь очаровательную, что я пожертвовал бы всем моим благополучием, чтобы только быть навеки окованным ею. Ужасная превратность судьбы! То, что составляет мое отчаяние, могло составить мне счастье! Я стал несчастнейшим из людей именно благодаря своему постоянству, хотя, казалось, вправе был ожидать сладчайшей участи и совершеннейших даяний любви.

В Париже сняли мы меблированное помещение на улице В... и, на мою беду, рядом с домом известного откупщика, г-на де Б... Прошло три недели, в течение коих я столь преисполнен был страстью, что и думать позабыл о родных и о том, как огорчен отец моим отсутствием. Тем временем, поскольку поведение мое не заключало в себе ни малейшей доли распутства, а также и Манон вела себя безупречно, спокойствие жизни нашей мало-помалу пробудило во мне сознание долга.

Я принял решение по возможности примириться с отцом. Возлюбленная моя была так мила, что я не сомневался в хорошем от нее впечатлении, если бы нашел средство ознакомить отца с ее благонравием и достойным поведением; одним словом, я льстил себя надеждой получить от него разрешение жениться на ней, не видя возможности осуществить это без его согласия. Я сообщил свое намерение Манон, дав ей понять, что, помимо побуждений сыновней любви и долга, следует считаться и с жизненной необходимостью, ибо средства наши крайне истощились и я начинаю терять уверенность в том, что они неиссякаемы.

Манон холодно отнеслась к моему намерению. Однако все ее возражения были мною приняты за проявление с ее стороны нежного чувства и за боязнь меня потерять в случае, если отец мой, узнав место нашего убежища, не даст своего согласия на брак; и я ничуть не подозревал жестокого удара, который был уже занесен надо мною. На доводы о неотложной

необходимости она отвечала, что у нас есть еще на что прожить несколько недель, а затем она рассчитывает на привязанность к ней и помощь родственников, к которым напишет в провинцию. Она подсластила отказ свой столь нежными и страстными ласками, что, живя только ею одной и не питая ни малейшего недоверия к ее чувству, я принял все ее возражения и со всем согласился.

Я предоставил ей распоряжаться нашим кошельком и заботиться об оплате ежедневных расходов. Немного спустя я заметил, что стол наш улучшился, а у нее появилось несколько новых, довольно дорогих нарядов. Зная, что у нас едва-едва оставалось каких-нибудь двенадцать – пятнадцать пистолей, я выразил изумление явному приращению нашего богатства. Смеясь, просила она меня не смущаться этим обстоятельством. «Разве не обещала я вам изыскать средства?» – сказала она. И я был слишком еще наивен в своей любви к ней, чтобы поддаться какой-либо тревоге.

Однажды вышел я после полудня, предупредив ее, что буду в отсутствии дольше обычного. Вернувшись, я был удивлен, прождав у дверей минуты две-три, пока мне отворили. Единственной прислугой у нас была девушка приблизительно нашего возраста. Когда она впускала меня, я обратился к ней с вопросом, почему меня заставили так долго ждать. Она смущенно отвечала, что не слышала моего стука. Я стучал всего один раз и поэтому заметил ей: «Но если вы не слышали, почему же пошли мне отворять?» Вопрос мой привел ее в такое замешательство, что, не находя ответа, она принялась плакать, уверяя, что это не ее вина, что барыня запретила ей отворять, прежде чем г-н де Б... не уйдет по другой лестнице, примыкавшей к спальней. В моем смущении я не имел сил войти в дом. Я решил вновь спуститься на улицу под предлогом какого-то дела и приказал девушке передать барыне, что вернусь через минуту, запретив ей, однако, сообщать, что она говорила мне о г-не де Б...

Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не лучше ее сердца. «Нет, нет, – восклицал я, – невозможно, чтобы Манон мне изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?»

А между тем посещение и тайное бегство г-на де Б... приводили меня в замешательство. Я вспомнил также разные мелкие покупки Манон, которые явно превосходили наши средства. Они наводили на мысль о щедротах нового ее любовника. А ее уверения, что она изыщет денежные средства из какого-то неведомого источника?! Всем этим догадкам я не мог найти того удовлетворительного объяснения, какого жаждало мое сердце.

С другой стороны, я почти не расставался с ней с тех пор, как мы поселились в Париже. Занятия, прогулки, развлечения – повсюду мы были вместе. Боже мой! Да мы бы не вынесли огорчения даже минутной разлуки! Нам беспрестанно надо было говорить друг другу о любви; без того мы умерли бы от беспокойства. И вот я не мог вообразить ни на одно мгновение, чтобы Манон была занята кем-либо другим, а не мною.

В конце концов мне показалось, что я нашел разгадку этой тайны. «Г-н де Б..., – решил я, – ведет большие дела и имеет обширную клиентуру; родители Манон могли при его посредстве передать ей некоторую сумму денег. Быть может, уже и ранее она получила что-нибудь

от него; сегодня он явился, чтобы передать ей еще. Вероятно, она решила скрыть от меня его приход, чтобы потом поразить меня приятной неожиданностью. Может быть, она и рассказала бы об этом, войди я к ней как обычно, вместо того чтобы сидеть здесь и сокрушаться. Во всяком случае, она не станет от меня таиться, если я сам заговорю с ней об этом».

Я настолько проникся этим убеждением, что оно весьма ослабило мою печаль. Я тотчас же вернулся домой и обнял Манон с обычной нежностью. Она очень приветливо меня встретила. Сперва я подумал было рассказать ей о своих догадках, которые представлялись мне теперь более чем несомненными, но удержался в надежде, что, может быть, она сама поведаст мне все, что произошло.

Подали ужин. Я сел за стол в очень веселом настроении, но при свете свечи, которая стояла между нами, лицо дорогой моей возлюбленной показалось мне печальным. Ее грусть передалась и мне. Я заметил во взгляде ее, обращенном на меня, что-то необычное. Я не мог разобрать, была ли то любовь или сострадание, но чувство, выражавшееся в ее очах, казалось мне ласковым и томным. Я взирал на нее с не меньшим вниманием; и может быть, ей было столь же трудно судить о состоянии моего сердца по моим взглядам. Мы не могли ни говорить, ни есть. Наконец слезы потекли из ее прекрасных очей: лживые слезы!

«О боже! – вскричал я, – вы плачете, дорогая Манон; вы расстроены до слез и не скажете мне ни слова о ваших печалях». Она ответила мне лишь глубокими вздохами, которые усилили мою тревогу. Трепеща, я встал с места; я заклинал ее со всем рвением любви моей открыть причину слез; отирая их, я плакал сам; я был ни жив ни мертв. Даже варвар был бы тронут искренностью моей скорби и моих опасений.

В то время, как я весь был занят ею, я услышал шаги нескольких человек по лестнице. Легонько постучали в дверь. Манон быстро поцеловала меня и, выскользнув из моих объятий, бросилась в спальную, мгновенно заперев за собою дверь. Я вообразил, что, желая привести в порядок свое платье, она решила скрыться от посетителей, которые постучались. Я сам пошел им отворять.

Не успел я отворить дверь, как был схвачен тремя мужчинами, в коих признал лакеев моего отца. Они не применили ко мне насилия; но пока двое из них держали меня за руки, третий обыскал мои карманы и вынул из них небольшой нож, единственное оружие, бывшее при мне. Принося мне извинения за столь невежливое со мною обхождение, они разъяснили, что действуют по приказу моего отца и что мой старший брат ожидает меня внизу в карете. Я был так поражен, что без сопротивления и без возражений позволил себя проводить к нему. Брат действительно дожидался меня. Меня посадили в карету рядом с ним, и кучер, как ему было приказано, тут же погнал лошадей в Сен-Дени. Брат нежно обнял меня, но не проронил ни слова; таким образом, я обладал полным досугом, чтобы предаться мыслям о злой судьбе своей.

Сперва я так был озадачен, что ни одно предположение не приходило мне в голову. Меня жестоко предали, но кто же? Тиберж первый пришел мне на ум. «Изменник! – говорил я. – Ты заплатишься жизнью, если подозрения мои справедливы». Между тем я рассудил, что он не был осведомлен о месте моего убежища и, следовательно, не от него могли узнать о нем. Я не смел запятнать свое сердце обвинением Манон. Та чрезвычайная печаль, которою, казалось мне, она была подавлена, ее слезы, нежный поцелуй, с которым она убежала, представлялись мне немалой загадкой; но я был склонен объяснять это как бы предчувствием нашей общей беды; сокрушаясь и ропща на судьбу, оторвавшую меня от нее, я наивно воображал, что она заслуживает еще более сожалений, нежели я сам.

После долгих раздумий я пришел к убеждению, что меня узнал на парижских улицах кто-нибудь из знакомых, который и сообщил о том моему отцу. Мысль эта меня утешила. Я рассчитывал отделаться суровыми упреками, пусть даже каким-нибудь наказанием, которые мне следовало выдержать во имя родительского авторитета. Я решил терпеливо все перенести

и обещать все, чего от меня потребуют, дабы как можно скорее вернуться в Париж и вновь наслаждаться счастливой жизнью со своей дорогой Манон.

Спустя немного времени мы прибыли в Сен-Дени. Брат, удивленный моим молчанием, приписал его страху. Он стал утешать меня, уверяя, что мне нечего бояться суровости отца, ежели только я проникнусь сознанием своего долга и оправдаю любовь, которую отец питает ко мне. В Сен-Дени брат решил остаться на ночлег и предусмотрительно положил спать всех трех лакеев в моей комнате.

Тяжело мне было очутиться опять в той же самой гостинице, где мы останавливались вместе с Манон по пути из Амьена в Париж. Хозяин и слуги узнали меня и сразу разгадали истинный смысл моего приключения. Я услышал, как один из слуг говорил хозяину: «А ведь никак это тот самый красавчик, что полтора месяца назад проезжал здесь с той пригожей девицей. Уж как он любил ее! Уж как они ласкали друг дружку, бедные детки! Жаль, ей-богу, что их разлучили». Я притворился, будто ничего не слышу, и постарался никому не показываться на глаза.

В Сен-Дени брата дождалась двухместная карета. Мы выехали спозаранку и на другой день к вечеру были дома. До моей встречи с отцом брат повидался с ним с глазу на глаз, дабы расположить его в мою пользу, рассказав, как покорно дал я себя увезти, таким образом, я был принят отцом гораздо приветливее, чем мог ожидать. Он удовольствовался общим выговором за проступок, который я совершил, исчезнув из дому без его позволения. Упомянув о моей возлюбленной, он сказал, что я вполне заслужил то, что со мной произошло, связавшись с незнакомкой; что он был лучшего мнения о моем благоразумии, однако надеется, что это маленькое приключение сделает меня умнее. Всю его речь истолковал я лишь в благоприятном для себя смысле. Я принес благодарность отцу за доброту, с коей простил он меня, и обещал отныне соблюдать послушание и руководствоваться более строгими правилами в своем поведении. В глубине сердца я торжествовал; ибо, по обороту всего дела, я не сомневался, что получу возможность уже ближайшей ночью исчезнуть из дому.

Сели ужинать: за столом подшучивали над моей амьенской победой и бегством с верной любовницей. Я добродушно принимал насмешки; был даже в восторге, что мне позволено вести разговор о предмете, неотступно занимающем мои мысли. Однако несколько слов, оброненных отцом, заставили меня насторожиться. Отец заговорил о вероломной и корыстной услуге, оказанной г-ном де Б... Я замер от смущения, услышав это имя из уст моего отца, и покорно просил его разъяснить мне подробнее, о чем идет речь. Он обратился к моему брату с вопросом, рассказал ли он мне всю историю. Брат отвечал, что в дороге я держался так спокойно, что он не усмотрел надобности в этом лекарстве для излечения моего безумия. Я заметил, что отец колеблется, не уверенный, следует ли объяснить мне все до конца. Но я стал умолять его столь настойчиво, что он удовлетворил моему любопытству, а вернее будет сказать, жестоко казнил меня самым ужасным из всех разоблачений.

Сначала он спросил, всегда ли я имел наивность верить в любовь своей подруги. Я отвечал со всей прямоотой, что вполне в этом уверен и ничто не может поселить во мне ни малейшего сомнения. «Ха! ха! ха! восхитительно! – вскричал он, громко расхохотавшись. – Что за прелестная простота! Меня умиляют твои чувства. Какая жалость, что я записал тебя в Мальтийский орден, бедный ты мой рыцарь, раз из тебя может выйти такой покладистый и удобный супруг». И он еще долго не унимался в своих насмешках над моей глупостью и доверчивостью.

В конце концов, так как я упорно молчал, он повел речь о том, что, согласно его расчетам, начиная с отъезда из Амьена, Манон любила меня всего лишь около двенадцати дней. «Ибо, – прибавил он, – я знаю, что уехал ты из Амьена двадцать восьмого дня прошлого месяца; сегодня двадцать девятое: одиннадцать дней прошло с тех пор, как господин Б... мне написал: полагаю, что ему потребовалось дней восемь для того, чтобы завязать близкое знакомство с твоей подругой; итак, отняв одиннадцать и восемь из тридцати одного дня, что про-

текли от двадцать восьмого числа одного месяца до двадцать девятого другого, получаем двенадцать или около того». И взрывы смеха возобновились.

Сердце мое сжалось, покуда я выслушивал его насмешки, и я боялся не выдержать до конца этой печальной комедии. «Да будет тебе ведомо, – продолжал отец, – раз сам ты ничего не подозреваешь, что господин Б... покорил сердце твоей принцессы, ибо, конечно, он пускает мне пыль в глаза, рассчитывая меня убедить, будто возымел намерение похитить ее у тебя из бескорыстного рвения оказать мне услугу. От кого другого, а уж от такого человека, да притом вовсе даже не знакомого со мною, невозможно ожидать проявления столь благородных чувств! Он узнал от нее, что ты мой сын, и, чтобы избавиться от твоей назойливости, донес мне о месте вашего пристанища и о распутном образе жизни, дав понять, что необходимы крутые меры, чтобы схватить тебя; он предложил помочь мне в этом, и благодаря его наставлениям и указаниям твоей любовницы брату твоему удалось захватить тебя врасплох. Поздравь же себя в прочности своего триумфа! Ты умеешь добиться быстрой победы, рыцарь; но не умеешь закрепить за собой свои завоевания».

Дольше я не имел сил вынести речь, каждое слово которой пронзало мое сердце. Я встал из-за стола и не успел сделать нескольких шагов к двери, как упал без чувств и без сознания. Оказанная мне быстрая помощь привела в себя. Я открыл глаза, дабы пролить потоки слез, и уста, дабы излить жалобы, самые печальные, самые трогательные. Нежно любящий меня отец горячо принялся утешать меня. Я слышал слова его, не вникая в их смысл. Я пал перед ним на колени; сжимая руки, заклинал его отпустить меня в Париж, чтобы заколоть Б... «Нет, – говорил я, – он не покорил сердца Манон; он принудил ее, он ее обольстил чарами или зельем, быть может, овладел ею силой. Манон любит меня, мне ли этого не знать? Наверное, он угрожал ей с кинжалом в руке и против воли заставил покинуть меня. Он был готов на все, чтобы похитить у меня мою прелестную возлюбленную. О боже! боже, возможно ли, чтобы Манон мне изменила и перестала любить меня!»

Так как я все время твердил о скорейшем возвращении в Париж и всякий раз при этом даже вскакивал с места, отец мой понял, что в моем исступлении ничто не сможет меня остановить. Он отвел меня в одну из верхних комнат, где оставил двух слуг для присмотра за мною. Я более не владел собой. Я бы пожертвовал тысячью жизней, лишь бы только побывать на четверть часа в Париже. Я понял, что выдал себя и мне не позволят так просто выйти из своей комнаты. Я смерил глазами высоту окон над землей. Не видя никакой возможности убежать этой дорогой, я обратился к двум моим стражам. Я надавал им множество обещаний, сулил им целое состояние, если они не станут препятствовать моему побегу. Я убеждал, увещевал, угрожал; попытки мои были бесполезны. Тут я потерял всякую надежду. Я решил умереть и бросился на постель, намереваясь покинуть ее лишь вместе с жизнью. Я провел ночь и следующий день в том же положении. Я отверг пищу, которую принесли мне наутро.

Отец пришел навестить меня после полудня. По доброте своей он старался облегчить мои страдания самыми ласковыми утешениями. Он столь решительно приказал мне что-нибудь съесть, что из уважения к нему я повиновался. Прошло несколько дней, в течение которых я принимал пищу только в его присутствии, покоряясь его воле. Он не переставал приводить мне доводы, стараясь образумить меня и внушить презрение к неверной Манон. Правда, я более уже не уважал ее; как мог я уважать самое ветреное, самое коварное из всех созданий? Но ее образ, пленительные черты я лелеял по-прежнему в глубине моего сердца; я это ясно чувствовал. «Пусть я умру, – говорил я, – как можно не умереть после такого позора и таких страданий; но я претерплю тысячу смертей, а не забуду неблагодарной Манон».

Отец был поражен, видя меня в непрерывной тоске. Он знал мои правила чести и, не сомневаясь в том, что ее измена должна вызвать во мне презрение, вообразил, что постоянство мое происходит не столько от этой страсти, сколько от общего влечения моего к женщинам. Он настолько проникся этой мыслью, что, движимый нежной привязанностью, однажды вошел ко

мне с готовым предложением. «Кавалер, – сказал он, – до сей поры всегда желал я видеть тебя рыцарем Мальтийского ордена; убеждаюсь, однако, что склонности твои направлены в иную сторону; тебя влечет к красивым женщинам; я решил подыскать тебе подругу по вкусу. Скажи мне откровенно, что думаешь ты об этом?»

Я отвечал, что отныне не делаю различий между женщинами и после несчастья, случившегося со мною, всех их презираю одинаково. «Я отыщу тебе такую, – засмеялся отец, – которая будет походить на Манон и будет вернее, чем она». – «Ах, ежели у вас есть доброе чувство ко мне, – воскликнул я, – верните мне ее, только ее одну! Верьте, дорогой батюшка, она не изменила мне; она не способна на столь черную и жестокую низость. Всех нас обманывает вероломный Б..., вас, и ее, и меня. Если бы вы ее увидели хоть на миг, вы сами бы полюбили ее». – «Ребенок! – возразил мой отец. – Как можете вы быть ослепленным до такого предела после того, что я сообщил вам о ней? Ведь она сама предала вас вашему брату. Забудьте ее, забудьте самое ее имя и, ежели вы благоразумны, не искушайте моей к вам снисходительности».

Правота отца была для меня слишком очевидна. Только произвольный сердечный порыв побудил меня защищать изменницу. «Увы! – воскликнул я, помолчав с минуту. – Сомнения нет, я несчастная жертва самого низкого из всех предательств. Да, – продолжал я, проливая слезы досады, – вижу теперь, что я просто доверчивый ребенок. Им ничего не стоило меня обмануть. Но я знаю, как отомстить». Отец пожелал узнать мои намерения. «Я направлюсь в Париж, – сказал я, – подожгу дом Б... и спалю его живьем вместе с коварной Манон». Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении.

Я провел в нем целых полгода, но в первые месяцы произошло мало перемен в моем настроении. Все мои чувства сводились к вечному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния – в зависимости от того, в каком виде представал образ Манон моим мыслям. То рисовалась она мне самой пленительной из всех девиц на свете, и я томился жадой ее видеть; то представлялась она мне низкой, вероломной любовницей, и я клялся отыскать ее лишь для того, чтобы покарать.

Меня снабдили книгами, и они немного способствовали успокоению моей души. Я перечитал всех любимых своих писателей, приобрел новые знания, вновь получил вкус к занятиям: вы увидите, сколько пользы принесло мне это впоследствии. Просвещенный любовью, я нашел смысл в множестве мест Горация и Вергилия, которые ранее оставались для меня темными. Я составил любовный комментарий к четвертой книге «Энеиды»; предназначая его к напечатанию, льщу себя надеждой, что читатели будут им удовлетворены. «Увы, – говорил я, составляя его, – верной Дидоне нужно было сердце, подобное моему».

Однажды Тиберж навестил меня в темнице. Я был поражен горячим порывом, с которым он обнял меня. До той поры я смотрел на нашу взаимную привязанность как на простую товарищескую дружбу между молодыми людьми приблизительно одного возраста. Я нашел его столь изменившимся и возмужавшим за пять или шесть месяцев нашей разлуки, что облик его и манеры внушили мне уважение. Он заговорил со мною скорее как мудрый советчик, нежели как школьный приятель. Он сожалел о заблуждении, жертвой которого я пал; поздравлял с исцелением и, наконец, увещевал воспользоваться уроком этой юношеской ошибки, убедившись на опыте в тщете удовольствий.

Я смотрел на него с изумлением. Он заметил это. «Дорогой мой кавалер, – сказал он, – все, что я вам говорю, несомненная истина, и я удостоверился в том после суровых испытаний. Я чувствовал в себе влечение к сластолюбию не меньше, нежели вы; но Небо даровало мне в то же время склонность к добродетели. Я обратился к собственному разуму, дабы сравнить плоды, приносимые тем и другим, и не замедлил распознать их различия. Небо присоединило помощь свою к моим размышлениям. Во мне зародилось презрение к миру, ни с чем не срав-

нимое. Назвать ли вам, что удерживает меня здесь, – прибавил он, – и что препятствует мне бежать в пустыню? Единственно нежная дружба с вами. Мне ведомы превосходные качества сердца вашего и ума; нет такого славного поприща, к которому вы не были бы способны. Яд суетных удовольствий совратил вас с пути. Какая потеря для добродетели! Ваше бегство из Амьена причинило мне столько горести, что с той поры я не вкусил ни минуты покоя. Судите о том по моим поступкам». Он рассказал мне, что после того, как обнаружил мой обман и бегство с любовницей, он сел на лошадь, чтобы следовать за мною; но, так как я опередил его на четыре или пять часов, ему было невозможно догнать меня; тем не менее он прибыл в Сен-Дени полчаса спустя после моего отъезда; будучи уверен, что я остановлюсь в Париже, он провел в нем полтора месяца, тщетно разыскивая меня; он обошел все места, где льстил себя надеждою меня встретить, и наконец однажды узнал мою любовницу в Комедии; она сидела в театре в блестящем уборе, и он догадался, что она обязана своим богатством какому-нибудь новому любовнику; он проследил ее карету до самого дома, где выведал от прислуги, что ее содержат щедроты г-на Б... «Я не остановился и на этом, – продолжал он, – я вернулся туда же на следующий день, дабы узнать от нее самой, что с вами произошло. Она убежала от меня, лишь только услышала ваше имя, и я вынужден был возвратиться в провинцию, не добившись других сведений. Там я узнал о вашем приключении и о крайнем унынии, в которое оно повергло вас; но я не хотел вас видеть, не уверившись в том, что найду вас в более спокойном состоянии».

«Значит, вы видели Манон? – воскликнул я со вздохом. – Увы! Вы счастливее меня, обреченного не видеть ее никогда более». Он стал упрекать меня за этот вздох, все еще обличавший мою слабость к ней. Он с такой изысканной ловкостью польстил моему доброму нраву и моим хорошим наклонностям, что зародил во мне, начиная с первого же посещения, сильное желание отказаться, по его примеру, от всех мирских усад и принять пострижение.

Я так увлекся этой идеей, что, оставшись один, ни о чем другом более не помышлял. Я вспомнил речи г-на епископа Амьенского, дававшего мне тот же совет, и благоприятные для меня его предсказания, ежели я последую по сему пути. Благочестивые чувства еще укрепили меня в моем решении. «Я буду вести жизнь мудрую и христианскую, – говорил я, – посвящу себя науке и религии, что не позволит мне помышлять об опасных любовных утехах. Я буду презирать то, что обычно восхищает людей; и, раз я чувствую, что сердце мое будет стремиться лишь к тому, что представляется ему достойным, у меня будет столь же мало забот, сколь и желаний».

Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни. В него входила уединенная хижина, роща и прозрачный ручей на краю сада; библиотека избранных книг; небольшое число достойных и здравомыслящих друзей; стол умеренный и простой. Я присоединил к этому переписку с другом, который, живя в Париже, будет сообщать мне городские новости, не столько для удовлетворения моего любопытства, сколько для того, чтобы развлекать меня суетными волнениями общества. «Разве не буду я счастлив? – прибавлял я. – Разве не осуществляются все мои желания?» Несомненно, такие планы вполне подходили моим склонностям. Однако, размышляя о столь мудром устройении моей будущей жизни, я почувствовал, что сердце мое жаждет еще чего-то, и, дабы уж ничего не оставалось желать в моем прелестнейшем уединении, надо было только удалиться туда вместе с Манон.

Между тем Тиберж не прекращал своих посещений, стремясь укрепить меня в намерении, которое мне внушил, и вот однажды я решился открыться отцу. Отец объявил мне, что взял за правило предоставлять детям свободу выбора жизненного пути и, каковы бы ни были мои планы, оставляет за собой только право помогать мне советами. Он преподавал мне несколько весьма мудрых наставлений, не столько стараясь разочаровать меня в моем проекте, сколько возбудить сознательное к нему отношение.

Начало учебного года приближалось. Я сговорился с Тибержем вместе определиться в семинарию Сен-Сюльпис, где он должен был закончить курс богословских наук, а я – приступить к ним. Его заслуги, известные епархиальному епископу, снискали ему от сего прелата солидный бенефиций еще до нашего отъезда.

Отец мой, полагая, что я вполне исцелился от своей страсти, отпустил меня без всяких затруднений. Мы прибыли в Париж. Духовное одеяние заменило мальтийский крест, а имя аббата де Грие – рыцарское звание. Я с таким прилежанием взялся за занятия, что в немного месяцев сделал огромные успехи. Я занимался и ночью, а днем не терял даром ни минуты. Слава моя так прогремела, что меня уже поздравляли с будущим саном, который не мог меня миновать; и без всяких ходатайств с моей стороны имя мое заняло место в списке бенефиций. Я не пренебрегал и делами благочестия, ревностно посещая церковные службы. Тиберж был в восторге, приписывая все своим стараниям, и много раз я видел, как он проливал слезы радости, торжествуя свой успех в деле моего обращения, как он говорил.

Меня никогда не удивляло, что намерения людские подлежат переменам: одна страсть порождает их, другая может их уничтожить; но когда я думаю о святости моих намерений, приведших меня в семинарию, и о сокровенной радости, какую ниспослало мне Небо при их осуществлении, я страшусь при мысли о том, с какой легкостью я от них отрекся. Ежели истинно то, что небесная помощь в любое мгновение обладает силою, равную силе страстей, пусть объяснят мне, какая же роковая власть совращает вдруг человека со стези долга, почему он теряет всякую способность к сопротивлению и не чувствует при этом ни малейших угрызений совести.

Я полагал, что совершенно освободился от любовных искушений. Мне казалось, что теперь я всегда предпочту страницу блаженного Августина или четверть часа благочестивых размышлений всем чувственным утехам, даже если бы меня призывала сама Манон. А между тем одно злосчастное мгновение низвергло меня в пропасть, и падение мое было тем непоправимее, что, очутившись вдруг на той же глубине, из которой я выбрался, я увлечен был новыми страстями гораздо далее, в самую бездну.

В Париже я провел около года, не стараясь ничего разузнать о Манон. Трудно мне было бороться с собой первое время; но всегдашняя поддержка Тибержа и собственные размышления способствовали моей победе. Последние месяцы протекли столь спокойно, что я полагал, что еще немного – и я забуду навеки это пленительное и коварное создание. Наступило время публичного испытания в Богословской школе; я обратился с просьбой к некоторым важным особам почтить своим присутствием мой экзамен. Имя мое прогремело по всем кварталам Парижа и дошло до ушей изменницы. Она не вполне признала меня в сане аббата, но какой-то остаток любопытства или, быть может, некоторое раскаяние в своем предательстве (я никогда не мог разобрать, какое из этих двух чувств) возбудили в ней интерес к имени, столь сходному с моим. Она явилась в Сорбонну вместе с несколькими другими дамами. Она присутствовала на моем испытании и, несомненно, без труда меня узнала.

Я ничего не знал о ее посещении. Как известно, для дам отводятся особые ложи, где они сидят скрытыми за жалюзи. Я вернулся в семинарию покрытый славой и осыпанный поздравлениями. Было шесть часов вечера. Минуту спустя по моем возвращении мне доложили, что меня желает видеть какая-то дама. Я тотчас же направился в приемную. Боже! Какое неожиданное явление! – меня ожидала Манон. То была она, но еще милее, еще ослепительнее в своей красоте, чем когда-либо. Ей шел осьмнадцатый год; пленительность ее превосходила всякое описание: столь была она изящна, нежна, привлекательна; сама любовь! Весь облик ее мне показался волшебным.

При виде ее я замер в смущении и, не догадываясь о цели ее посещения, ожидал, дрожа, с опущенными глазами, что она скажет. Несколько минут она находилась в не меньшем замешательстве, нежели я, однако, видя, что я продолжаю молчать, поднесла руку к глазам, чтобы

скрыть слезы. Робким голосом сказала она, что я вправе был возненавидеть ее за ее неверность, но если я питал к ней когда-то некоторую нежность, то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи, а тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова. Смятение моей души, покуда я выслушивал ее, не может быть выражено никакими словами.

Она села. Я продолжал стоять – вполоборота к ней, не смея прямо взглянуть на нее. Несколько раз я начинал было говорить и не имел сил окончить свою речь. Наконец, сделав усилие над собой, я воскликнул горестно: «Коварная Манон! О, коварная, коварная!» Она повторила, заливаясь слезами, что и не хочет оправдываться в своем вероломстве. «Чего же вы хотите?» – вскричал я тогда. «Я хочу умереть, – отвечала она, – если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно». – «Проси же тогда мою жизнь, неверная! – воскликнул я, проливая слезы, которые тщетно старался удержать, – возьми мою жизнь, единственное, что остается мне принести тебе в жертву, ибо сердце мое никогда не переставало принадлежать тебе».

Едва я успел произнести последние слова, как она бросилась с восторгом в мои объятия. Она осыпала меня страстными ласками; называла меня всеми именами, какие только может изобрести любовь для выражения самой нежной страсти. Я все еще медлил с ответом. И правда, каков переход от спокойного состояния последних месяцев к мятежным порывам души, уже возрождавшимся во мне! Я был в ужасе; я дрожал, как дрожат ночью от страха в пустынной местности, когда кажется, что вы перенесены в иную стихию, когда вас охватывает тайный трепет и вы приходите в себя, лишь освоившись с окрестностями.

Мы сели друг подле друга. Я взял ее руки в свои. «Ах, Манон, – произнес я, печально смотря на нее, – не ожидал я той черной измены, какой отплатили вы за мою любовь. Вам легко было обмануть сердце, коего вы были полной властительницей, обмануть человека, полагавшего все свое счастье в угождении и в послушании вам. Скажите же теперь, нашли ли вы другое сердце, столь же нежное, столь же преданное? Нет, нет, природа редко создает сердца моего закала. Скажите, по крайней мере, сожалели ли вы когда-нибудь обо мне? Могу ли я довериться тому доброму чувству, что побуждает вас сегодня утешать меня? Я слишком хорошо вижу, что вы пленительнее, чем когда-либо; но во имя всех мук, которые я претерпел за вас, прекрасная Манон, скажите мне, останетесь ли вы верны мне теперь?»

Она наговорила мне в ответ столько трогательных слов о своем раскаянии и поручилась мне столькими клятвами в верности, что смягчила сердце мое беспредельно. «Дорогая Манон, – обратился я к ней, нечестиво перемешивая любовные и богословские выражения, – ты слишком восхитительна для земного создания. Я чувствую, что мною овладевает неизъяснимая отрада. Все, что говорится в семинарии о свободе воли, – пустая химера. Ради тебя я погублю и свое состояние, и доброе имя, предвижу это; читаю судьбу свою в твоих прекрасных очах; но разве мыслимо сожалеть об утратах, утешаясь твоей любовью! О богатстве я нимало не забочусь; слава мне кажется дымом; все мои планы жизни в лоне Церкви кажутся мне теперь безумными бреднями; словом, все иные блага, кроме тех, что неразлучны с тобою, достойны презрения, разве они устоят в моем сердце против одного-единственного твоего взгляда?»

Однако же, обещая ей полное забвение ее проступка, я пожелал узнать, каким образом могла она соблазниться Б... Она рассказала, что, увидев ее в окне, он страстно влюбился; что объяснился он с ней, как и подобает откупщику, то есть указав ей в письме, что оплата будет соразмерна с ее ласками; сначала она уступила, но только ради того, чтобы вытянуть из него изрядную сумму, которая могла бы обеспечить нашу жизнь; потом он ослепил ее столь великолепными обещаниями, что она стала падать все ниже и ниже; все же я должен судить о ее угрызениях по ее печали в час нашего расставания; и, несмотря на роскошь, в которой он содержал ее, она никогда не вкусила счастья с ним не только потому, что вовсе не нашла в нем, говорила она, изящества моих чувств и прелести моего обхождения, но потому, что даже

в самый разгар удовольствий, которые доставлял он ей беспрестанно, она лелеяла в глубине сердца воспоминание о моей любви и мучилась угрызениями совести. Она рассказала мне о Тиберже и о крайнем смущении, какое причинило ей его посещение. «Удар шпаги в самое сердце менее взволновал бы мою кровь, – прибавила она. – Я вышла из комнаты, не в силах выдержать ни на минуту его присутствие».

Она продолжала рассказывать мне, каким образом узнала о моем пребывании в Париже, о перемене в моей жизни и о занятиях в Сорбонне. По ее уверениям, она настолько была взволнована во время диспута, что ей стоило огромных усилий не только удержать слезы, но даже стоны и крики, которыми не раз готова она была разразиться. Наконец, она сообщила мне, как вышла последней из зала, чтобы скрыть свое расстроенное состояние, и как, следуя только движению сердца и взрыву чувств, она явилась прямо в семинарию с решением здесь умереть, если не добьется от меня прощения.

Найдется ли на свете варвар, которого не растрогало бы столь живое и нежное раскаяние? Что до меня, то я чувствовал в эту минуту, что готов пожертвовать ради Манон всеми епархиями христианского мира. Я спросил ее: что же нам теперь делать? Она отвечала, что надо немедленно покинуть семинарию и позаботиться о приискании более надежного убежища. Я согласился на все без возражений. Она села в свою карету, чтобы дожидаться меня на перекрестке. Минуту спустя я вышел, не замеченный привратником, и занял место рядом с ней. Мы направились в одежный ряд; я снова облачился в кафтан, опоясался шпагой. Манон платила за все, ибо у меня не было ни гроша; из страха, как бы что не помешало мне скрыться из семинарии, она запретила мне возвращаться туда за деньгами. Впрочем, моя казна была невелика, она же достаточно богата щедротами Б..., чтобы пренебречь тем, что я бросал за собой по ее воле. Не выходя из лавки, мы обсудили наши дальнейшие действия.

Дабы я еще более оценил жертву, которую она мне приносила, она решила порвать всякие сношения с Б... «Я оставлю ему всю обстановку, – сказала она, – она принадлежит ему; но, по справедливости, возьму с собою драгоценности, а также около шестидесяти тысяч франков, которые я вытянула у него за два года. Я не связала себя с ним никакими обязательствами, – добавила она, – поэтому мы можем безбоязненно оставаться в Париже, сняв удобное помещение, где и заживем счастливо».

Я возражал ей, что, если для нее и нет опасности, она велика для меня, ибо рано или поздно я буду узнан, и мне постоянно будет угрожать несчастье, которое я уже испытал. Она дала мне понять, что ей жалко было бы покинуть Париж. Я так боялся ее огорчить, что готов был пренебречь любой опасностью в угоду ей. Между тем мы нашли выход из положения: мы снимем дом в какой-нибудь деревне за чертою Парижа, откуда нам легко будет добираться до города всякий раз, как прихоть или нужда призовет нас туда. Мы выбрали Шайо, расположенное неподалеку. Манон немедленно отправилась к себе. Я стал поджидать ее у калитки Тюильрийского сада.

Через час она вернулась в наемной карете, с горничной, прислуживавшей ей, и несколькими сундуками, содержащими ее платья и ценные вещи.

Мы быстро доехали до Шайо и остановились на первую ночь в гостинице, чтобы иметь время подыскать себе дом или, по крайней мере, квартиру, достаточно удобную. Уже на следующий день нам удалось найти помещение по своему вкусу.

Счастье мое казалось мне сперва неколебимым. Манон была сама нежность, сама приветливость. Ко мне она относилась с такой милой заботливостью, что я считал себя вознагражденным с избытком за все свои страдания. Мы оба приобрели некоторый жизненный опыт и могли лучше судить о размерах нашего состояния. Сумма в шестьдесят тысяч франков, составлявшая основу наших богатств, не могла тянуться всю долгую жизнь. С другой стороны, мы не были расположены слишком стеснять себя в расходах. Бережливость отнюдь не была главной добродетелью Манон, равно как и моей. Я предложил следующий план. «Шестьдесят тысяч

франков, – говорил я, – могут поддержать наше существование в течение десяти лет. Если мы останемся жить в Шайо, двух тысяч экю нам будет хватать на год. Мы будем вести жизнь достойную, но простую. Единственной нашей тратой будет содержание кареты и театр. Мы будем расчетливы. Вы любите „Оперу“. Мы станем бывать там два раза в неделю. В игре мы так себя ограничим, чтобы наш проигрыш не превышал никогда двух пистолей. Не может быть, чтобы в течение десяти лет в моем семейном положении не произошло каких-либо перемен; отец мой преклонного возраста, он может умереть. Я получу наследство, и все наши заботы останутся позади».

Такой распорядок помог бы нам жить в достатке, ежели бы мы имели настолько благоразумия, чтобы постоянно ему следовать. Манон страстно любила наряды и развлечения; я был страстно влюблен в нее. То и дело у нас возникали новые поводы к тратам; нimalo не жалея денег, которые она не раз бросала на ветер, я первый готов был доставлять ей все, что только могло ей быть приятно. Да и наше пребывание в Шайо начало ей становиться в тягость.

Приближалась зима; все возвращались в город, деревня пустела. Манон предложила мне переселиться в Париж. Я не соглашался; но, чтобы угодить ей чем-нибудь, я предложил снять в городе меблированные комнаты, где мы могли бы оставаться на ночь, когда случится нам слишком поздно засидеться в собрании, куда мы отправлялись по нескольку раз в неделю; ибо неудобство возвращаться так поздно было предлогом, который она выставляла, желая покинуть Шайо. Итак, мы обзавелись двумя квартирами, одной в городе, другой в деревне. Такая перемена вскоре окончательно запутала наши дела, послужив причиною двух происшествий, которые привели к нашему разорению.

У Манон был брат, служивший в гвардии. К несчастью оказалось, что он живет в Париже на одной улице с нами. Он узнал сестру, увидав ее утром у окна, и немедленно прибежал к нам. То был человек грубый и бесчестный; он вошел в комнату с ужасными проклятиями и, зная о некоторых приключениях сестры, осыпал ее руганью и упреками.

За минуту перед тем я вышел из дому, несомненно к счастью для него и для меня, ибо я менее всего был расположен стерпеть оскорбление. Я возвратился уже после его ухода. Печаль Манон выдала мне, что произошло что-то чрезвычайное. Она рассказала мне о прискорбной сцене, какую пришлось ей вынести, и о грубых упреках брата. Я так был возмущен, что готов был немедленно бежать за обидчиком, только слезы ее удержали меня.

Пока мы обсуждали эту встречу, гвардеец без предупреждения снова явился к нам в комнату. Если бы я знал его в лицо, то встретил бы его менее любезно; но, весело нам поклонившись, он успел принести Манон извинения в своей запальчивости; он объяснил, что заподозрил ее в распутстве и эта мысль привела его в ярость; но, расспросив одного из наших слуг, он получил обо мне столь благоприятные сведения, что пожелал завязать с нами добрые отношения.

Хотя расспрашивать обо мне у лакеев было довольно странно и оскорбительно, я вежливо ответил на его приветствие, думая угодить этим Манон. Она казалась в восторге, видя, что он успокоился. Мы оставили его отобедать.

Вскоре он так запросто почувствовал себя у нас, что, услышав о нашем возвращении в Шайо, непременно пожелал нам сопутствовать. Пришлось предоставить ему место в карете. Это был первый шаг, ибо вскоре он так приохотился навещать нас, что стал чувствовать себя у нас как дома и распоряжаться всем как хозяин.

Меня он называл уже братом и, на правах брата, принялся приглашать к нам в Шайо своих приятелей, угощая их за наш счет; сшил себе великолепное платье на наши средства; заставил нас заплатить все свои долги. Я закрывал глаза на такое самоуправство, дабы не причинить огорчения Манон, и даже делал вид, будто не замечаю, как он выпрашивает у нее время от времени значительные суммы денег. Правда, ведя большую игру, гвардеец был настолько честен, что частично возвращал их ей, когда счастье ему улыбалось; но наше состояние было

слишком скромным, чтобы долгое время покрывать столь неумеренные траты. Я собирался уже решительно поговорить с ним, чтобы положить конец его навязчивости, когда несчастный случай, избавив меня от одной беды, наслал на нас другую, которая довершила наше разорение.

Однажды, как это часто бывало, мы заночевали в Париже. Служанка, остававшаяся в таких случаях одна в Шайо, явилась ко мне наутро с известием, что ночью в нашем доме вспыхнул пожар и огонь едва удалось потушить. Я спросил, пострадала ли наша обстановка. Она отвечала, что была такая великая суматоха и столько чужого народу сбежалось на помощь, что она ни за что не ручается. В тревоге за наши деньги, которые были заперты в маленьком сундуке, я тотчас же вернулся в Шайо. Напрасно я спешил! – сундучок исчез.

Я понял тогда, что можно любить деньги, не будучи скупым. Неожиданная утрата исполнила меня такой скорбью, что я опасался за свой рассудок. Я сразу понял, какие новые бедствия ожидают меня. Нищета была меньшим из них. Я достаточно изучил Манон; я знал по горькому опыту, что, как бы она ни была верна и привязана ко мне, когда судьба нам улыбалась, нельзя рассчитывать на нее в беде. Она слишком любит роскошь и удовольствия, чтобы пожертвовать ими ради меня. «Я потеряю ее! – воскликнул я. – Несчастный! Итак, ты вновь теряешь все, что любишь!» Мысль эта повергла меня в столь ужасное смятение, что несколько минут я колебался, не лучше ли покончить разом со всеми бедами, наложив на себя руки.

По счастью, я сохранил еще присутствие духа, чтобы обдумать, не остается ли у меня какого-либо другого выхода. Небу угодно было внушить мне мысль, которая удержала меня от отчаяния: мне пришло в голову, что я могу скрыть от Манон нашу потерю, а там моя изобретательность либо какая-нибудь счастливая случайность поможет мне содержать ее так, чтобы она не почувствовала нужды.

«Я рассчитывал, – утешал я себя, – что двадцати тысяч экю хватит нам на десять лет. Предположим, что десять лет истекли и никаких перемен в моем семейном положении, на которые я надеялся, не произошло. Что бы я предпринял в таком случае? Не знаю толком; но что мне мешает сделать уже теперь то, что мне пришлось бы делать тогда? Сколько людей живет в Париже, не обладая ни моим умом, ни природными дарованиями, и которые тем не менее кормятся в меру своих способностей!»

«Сколь премудро устроило мир Провидение! – прибавил я, размышляя о различных жизненных положениях. – Большинство вельмож и богачей – дураки. Это ясно всякому, кто хоть немного знает свет. И в этом заключается великая справедливость. Обладая они и умом, и богатством, они были бы чрезмерно счастливы, остальное же человечество слишком обездолено. Телесные и душевные качества даны в удел бедным как средства преодолевать свои несчастья и нищету. Одни получают долю в богатстве вельмож, служа их развлечениям: они их дурачат. Другие обучают их наукам: они стараются сделать из них людей достойных; правда, это им редко удается, но не в том цель Божественной премудрости: бедняки пожинают плоды своих усилий, живя на средства тех, кого обучают; и, с какой стороны ни посмотреть, глупость богачей и вельмож – превосходный источник дохода для малых сих».

Мысли эти немного успокоили мне сердце и рассудок. Я решил сперва посоветоваться с г-ном Леско, братом Манон. Он в совершенстве знал Париж, и я не раз имел случай убедиться, что ни его личное состояние, ни королевское жалованье не составляют главного источника его дохода. У меня оставалось всего каких-нибудь двадцать пистолей, по счастью уцелевших в моем кармане. Я показал ему кошелек, рассказав о своем несчастье и опасениях, и спросил, есть ли для меня иной выбор, кроме голодной смерти или самоубийства. Он отвечал, что самоубийством кончают одни лишь дураки; что же до голодной смерти, то множество умных людей были в бедственном положении, пока не решались применить свои дарования; мое дело – испытать, на что я способен; он же послужит мне помощью и советом во всех моих начинаниях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.